

Всякий раз удивляешься, перечитывая «Войну и мир», что вроде бы низкую, частную правду жизни пишет Лев Николаевич Толстой, подчас мелкую, третьестепенную — правду факта, детали, жеста-поступка, мимики, самой незамысловатой речи обыденной... Но через всё это непонятно как прорастает и понемногу становится явной большая Правда народной жизни, в неразрывном художественном сцеплении множества мелкого, малого рождается на наших глазах, восходит ввысь великое, эпическое — причём такое, в несомненную реальность которого невозможно или, во всяком случае, трудно не поверить.

Я не филолог и потому не могу подыскать в мировой, того времени, литературе подходящий аналог этого без всякого сомнения нового тогда художественного метода ли, самого повествовательного строя и стиля, привнесённого Толстым в литературный инструментарий её и столь поразившего писательский мир и у нас, и на изощрённом в этом деле Западе. Можно назвать его «суровым реализмом» (и, может быть, уже называли) или ещё как, но до него с такой «невыдуманностью», с такой естественной укоренённостью в «земляной», низовой правде жизни (и смерти) не писали. Это, собственно, и стало толстовским новаторством в мировой прозе.

Как эта толстовская художественная правда сказывалась во взаимоотношениях с общепринятыми историческими версиями «непредсказуемого прошлого», как порой противостояла им, а то даже изменяла их, пересиливала — эти вопросы и раньше, и сейчас, и всегда, сдаётся, будут занимать умы и сердца исследователей и просто читателей.

Свою концепцию истории Л.Н.Т. с излишком подробно, как некоторым кажется, изложил в заключительной части «Войны и мира», и на ней останавливаться нет нужды, она известна. Интересны сами по себе частные случаи противостояния, спора Л.Н. с патологически подчас лживой, право же, мадам Клио, из которых и выстраивалась у него большая, центральная концепция. О некоторых из них я хочу напомнить и себе, и вам.

Один из занимавших Л.Н. вопросов — о роли личности в истории, и он не то что совсем отрицал её, но умалял порою до незначительности, пассивности. Это в первую очередь сказалось на образе Кутузова, полководческая воля которого была как бы заменена на мудрость, сущность которой — не мешать естественному ходу событий, тех же сражений (как, например, и роль Багратиона в Шенграбенском «деле»). «В исторических событиях так называемые великие люди суть ярлыки, дающие наименование событию, которые, также как ярлыки, менее всего имеют связи с самим событием...» Суждение весьма крайнее, конечно, спорное, что ни говори.

Более активной показавшей воля и действия Наполеона — но как недоброй именно силы, вызвавшей в русском мире силу ответную, поднявшую всем известную «дубину народной войны».

И здесь «силой прозы» своей именно (как мы условились обозначить тему) Л.Н.Т. навсегда обрушил, развенчал миф о величии Бонапарта-Наполеона — миф по принадлежности не только французский, но западный в целом, постоянно возобновляемый как один из столпов большой, всеобъемлющей мифологии Запада, подпёртой всевозможными и чаще всего предельно лживыми подпорками. Но любой внимательный и более-менее объективный читатель романа уже никогда и никак не поверит фикции величия этого самовлюблённого до истерии небольшого упитанного человека с маленькими белыми ручками и с честолюбиво дёргающей икрой левой ноги («дрожание моей левой икры есть великий признак» — слова самого Бонапарта). Авантюрист высшей марки, как у нас о таких говорят? Да, пожалуй — с выдающимися, надо признать, военными и организаторскими способностями, «оседлавший волну», революционный процесс смены феодализма капитализмом. Но не сама «волна», какую был, скажем, Пётр I — прямое опровержение толстовской концепции — или великий объединитель Германии Бисмарк, наново создававшие свои государства, обеспечившие качественный скачок в их развитии. Вы можете представить их радикальнейшие реформы без них самих?

Любая революция всегда находит, выводит наверх своего диктатора, «бонапартизм» как явление — её прямое следствие, и Наполеон здесь не исключение: не было б его — нашёлся бы другой. Нет сомнений и в том, что так называемые «кодексы Наполеона» - творенье коллективное, по сути, — весьма послужили становлению и развитию во Франции «третьего сословия» — буржуазии, капитализма как такового. Но первооткрывателем, как пытаются представить его апологеты, он никак уж не был, эти процессы шли с большим опережением в той же Англии, назрели и начались в самой континентальной Европе, и Наполеон с его окружением разве что ускорили и в чём-то дооформили их, гениального здесь ничего не было. С другой стороны, наполеоновские войны сильно истощили Францию, и потому она, по утверждению известного экономиста и философа Михаила Хазина, не смогла стать самостоятельной «технологической зоной» развития, подпав под британскую.

Да, военная машина, созданная революцией и Наполеоном, была совершенней, чем во всех государствах Европы — как, впрочем, и у Карла XII, и у Гитлера в конце 30-х — начале 40-х, но о чём это говорит, о своего рода западной преемственности завоевательской, агрессивной? Да и с кем он воевал тогда, спросите? Большею частью с коалиционными австрийскими, прусскими, польскими и прочими наёмными ландскнехтами под началом малоспособных меласов, бюхеров, шварценбергов и прочих: «эрсте колонна марширт...» А под Аустерлицем — с рыхлой, дезорганизованной присутствием двоих императоров-дилетантов союзной армией, скверно управляемой, более того — потерявшей управление уже в первые полчаса сражения. Наполеон же обладал главным преимуществом: единоначалием своим, распоряжаясь всеми ресурсами государства и армии, духом войск и передовым оперативным искусством, которое, между прочим, Суворов освоил гораздо раньше, два раза бил наполеоновских маршалов, кстати, и вообще не проиграл ни единого сражения, в отличие от этого «военного гения».

Кстати же, осенью 1941 года в боях за Бородинское поле немцы сделали символический, на свою беду, жест: бросили в наступление французский легион СС (638 полк), который был там наголову разбит русскими солдатами дивизии В. Полосухина. А всего же в составе вермахта, да будет вам известно, воевало на разных фронтах и в охране около миллиона французских добровольцев, только в советском плену их оказалось 23 тысячи. И что там де Голль с его лондонской командой под названием «Сражающаяся Франция» и легионом в Северной Афри-

ке, что мелкие диверсии «маки» Соппротивления и около сотни лётчиков эскадрильи «Нормандия-Неман»... Ловко, надо сказать, пристроилась к странам-победительницам Франция, всю войну, вдобавок, усердно работавшая на военную мощь гитлеровского рейха. И лишь Сталин, вопреки союзникам, настоял на своём, и ему французы должны бы вовек благодарными быть за спасённую, пусть и формально, честь, а не вторить англосаксонской лжи о нём и поношениям... Как, к слову сказать, и евреи за его решившую всё поддержку в создании государства Израиль.

Совершенно авантюрный, агрессивный и хищнический, грабительский характер большинства завоеваний и действий Бонапарта не скрывается даже его западными апологетами — сочетаемый с беспрецедентной для войн Европы того времени жестокостью и вероломством, разве что с янычарами сравнить или с английскими колонизаторами. В египетском походе население взятой штурмом Яффы (в Сирии) вырезано всё, включая детей, женщин и стариков; а 4 тысячи засевших в цитадели, но сдавшихся под обещание жизни солдат попросту всех расстреляли. Разгромив затем 15-тысячную армию высадившихся турок, этот «великий» приказал пленных не брать и с неподражаемым упоением описывал потом эту очередную бойню: «Эта битва — одна из прекраснейших, какие я только видел: от всей высадившейся армии не спасся ни один человек...»

И вот с такой «старой гвардией» мясников, бестрепетных убийц, со всеевропейским сбродом наёмников, насильников и мародёров, алчущих поживы, вломился в Россию этот беспринципный, агрессивно развязавший по меньшей мере четыре общеевропейских истребительных войны «гений», не гнушавшийся ничем, даже подделкой российских асигнаций на несколько миллионов.

Попав в московскую ловушку с предельно растянутыми коммуникациями, которую он сам себе «стратегически» устроил, Бонапарт усиленно напрашивается на мир, лицемерно пеняя на «поджигателей» и сокрушаясь сожжению великой столицы. А когда теряет надежду на переговоры (вспомним «Волка в овчарне» Крылова: «Ты сер, а я, приятель, сед...»), плебейская низость капрала берёт в его натуре верх: мстительно (а за что бы, спросить?) взрывает Кремль, дожигает Москву и все города и сёла при отступлении — планомерно, без всякой пощады к мирным жителям, а в Вязьме, например, генерал Чичагов едва успевает спасти около 300 русских раненых и пленных, запертых в церкви и подождённых... Насильничали женщин и девочек, убивали за всякую малую провинность и без оной, нещадно мародёрничали, огромные обозы награбленного таща и оставляя за собой выжженную пустыню, — творили то, что потом фашизмом было перенято, принято к практике как «тотальная война»... С таким же зверством велась она и в Испании, где их тоже встретило сопротивление самого народа.

По сути, он являлся «фюрером» XIX века, а Европа Наполеона — прямой предшественницей фашистской Европы Гитлера: слишком уж много здесь буквальных исторических повторений-параллелей как в идеях, так и по существу, на практике. Как французский офицер играл перед Пьером в благородство в только что занятой Москве, а потом такие пристреливали обессилевших и отстающих пленных, так и бывший капрал рисовался перед «общественным мнением» мировым, пыжился и блефовал, шантажировал и «нагибал» кого только мог из «сильных мира сего» в упоении силой своей и власти, прикрываясь благом и величием Франции и нации, — как потом и бесноватый ефрейтор...

Вообще же говоря, закономерность тут одна: если в Европе очередной претендент на всеевропейское или мировое господство ведёт войну ещё более-менее «цивилизованно», то всякое его вторжение в Россию сразу становится предельно варварским, античеловечным — потому, наверное, что европейцы считают русских «неполноценными» и не связывают себя никаким, даже самым минимальным гуманизмом. И всегда полной противоположностью бывает поведение и, можно сказать, при-

мерное отношение в европеизацию русских войск, загнавших очередного зверя-заоевателя в населенную Берлогу, будь то Париж или Берлин. К слову сказать, подавляющее большинство войн развязывалось и сейчас развязывается самими западноевропейцами, Западом вообще, и не приходится спрашивать, кто человечески более «полноценен».

Лев Толстой не сообщил в романе и десятой доли подобных наполеоновских «деяний», хотя, несомненно, знал их; да в том и не было уже нужды, хватило созданного мозаичным, из воспоминаний очевидцев, мастерством образа властолюбивого, то и дело в фальшивое актёрство сваливающегося человека, который продолжает «покорно... исполнять ту жестокую, печальную и тяжёлую, нечеловеческую роль», какую он с поистине сатанинской дерзостью взял на себя. И, как всякий авантюрист, удачно одержал ряд громких побед над слабейшими, коалиционно рыхлыми противниками, — но, когда Фортуна отвернулась, проиграл три решающих его судьбу сражения: Бородино-Тарутино-Малоярославец, назовём это одной непрерывной битвой, Лейпцигское и Ватерлоо, да и войну в Испании тоже. «Великий лгун» (так весьма доказательно назвал одну из главок о Бонапарте наш нынешний министр культуры В. Мединский в своей книге «Скелеты из шкафа русской истории») обманул и себя, и 600-тысячных поделщиков своих, какие не только «лошадину жрали», как предсказал Кутузов, но часто и в каннибализм сваливалась — гренадёр гренадёра, так сказать... Ну, а как назвать тех, кто лгал и сейчас продолжает лгать о «великом лгуне», повторяет его и оперативную, с мест событий, и мемуарную ложь, отъявленный образчик которой Л.Н. дал в романе?

Ещё одну «ложь времён» художественно разоблачил Л.Н. в повествовании о масонском «крещении» Пьера. Масонство как орудие влияния и управления создавалось и совершенствовалось в Европе издавна и с середины XVIII века усиленно внедрялось в Россию, молодую и весьма-таки наивную на этот счёт, — как, кстати, форсированно внедряется и укореняется и сейчас. Уловлять в сети свои богатых простецов вроде Безухова, в качестве дойной коровы, и дельцов, карьеристов, значимых при дворе вельмож, дабы через них заиметь влияние и всяческие выгоды в высшем свете и самом государстве — вот цель масонерии, вплоть до ползучего захвата власти, не брезгуя никакими средствами.

Скоро становится ясным, что совершенно неслучайна, подстроена, навязана Пьеру встреча с масоном Баздеевым на перегонной станции — за ним зорко следили, чтобы улучить его в дорожном расстройстве ума и чувств после дуэли с Долоховым и разлада с женой Элен. А следом и в Петербурге с присылкой мистической книги и непрошенным визитом Вилларского, с бесцеремонным уже требованием вступить в ложу — обложили, нахраписто действовали. А вся завлекающая псевдонравственная лабуда, простите за выражение, какую нёс Безухову «учитель» Баздеев, как раз и рассчитана на таких профанов — как и нелепый, унижительный обряд посвящения, призванный сломить волю посвящаемого пошлой таинственностью, дешёвыми аксессуарами, вроде гроба с костями и черепа, подчинить рассудок, заставить верить и другим, теперь уже идейным, идеологическим нелепостям и внушениям, какие будут тебе впаривать, раз уж согласился разуть одну ногу и подвернуть на ней штанину, поставить себя в дурацкое и унижительное положение... Изначальный обман и лживость, пошлость, меркантилизм мастеров-адептов в масонерии, полная подчинённость их забугорным «доброжелателям» России. С тонкой иронией, а то и с усмешкой описывает Л.Н. весь этот балаган заигравшихся в высокопарную словесную трескотню «искателей истины», людей пустых, своекорыстных и циничных, тем паче что Безухов воспринимает всё это совершенно всерьёз, хотя и усомнился вдруг на минуту: «Где я? Что я делаю? Не смеются ли надо мной? Не будет ли мне стыдно вспоминать это?..» — когда вручили лопату, «чтоб он трудился ею очищать своё сердце от пороков и снисходительно заглаживать ею сердце ближнего...»

Не чем-нибудь, а именно ею, хотя для некоторых представителей рода людского и лопаты будет мало, чтобы очистить.

Несравненно серьёзней была попытка масона-иллюмината (кстати, ярого поклонника Наполеона и его «кодексов») Сперанского вовлечь в свои дела Андрея Болконского, к тому времени хотя и полностью разочаровавшегося в Бонапарте, но вольномыслящего, почти атеиста. Цели Сперанского были вполне диктаторские; а для начала, пользуясь большим влиянием на Александра I, он хотел установить в России конституционную монархию как первый шаг в «перестройке» того времени, где «монарх царствует, но не правит», и свести на нет значение и влияние на государственные дела Православной Церкви, которую он ненавидел. Болконский, восхищавшийся Сперанским и согласившийся разрабатывать новый воинский устав и войти в комиссию по составлению законов, всё же на интуитивном уровне чувствовал подколенную сущность этого выскочки-поповича: «... это был холодный, зеркальный, не пропускающий к себе в душу взгляд Сперанского, и его белая, нежная рука...» Немногими чертами Толстой создал мертвенный какой-то образ Сперанского, сухо рационалистического и крайне скрытного. «Неприятно поражало князя Андрея ещё слишком большое презрение к людям...» Продолжалось их сотрудничество недолго, Сперанский был уличён и сослан в Нижний Новгород, а затем в Пермь. Декабристы-масоны, между прочим, предполагали сразу ввести Сперанского в своё временное правительство.

Есть достаточно достоверные данные (Т.О. Соколовская), что и М.И. Кутузов был масоном, и его даже подозревали и обвиняли в потворстве наполеоновским завоевателям, но это уже другая тема.

Предательская сущность масонства в истории России проявлялась многократно, и объясняется она полной и безусловной зависимостью российских лож, которым патент на существование выдавались ложами (т.е. правящими кругами) Англии, Франции, Германии, США, боровшимися между собой за степень влияния на нашу политику и экономику. И влияли, и влияют, надо сказать, крайне скверно, одно Временное правительство 1917 года чего стоит или сговор подонков по разрушению СССР, то есть исторической России как таковой... Безухов едет в Европу за новыми инструкциями, посвящается там в высшую, якобы, степень и возвращается чрезвычайно, по современному выражаясь, политизированным, цитирую его: «Но в сих великих (масонских — П.К.) намерениях препятствуют нам весьма много нынешние политические учреждения...» Заграничные шефы масонства навострили Пьера, ни много ни мало, на захват реальной власти. Продолжаю цитату: «Тогда только орден наш будет иметь власть — нечувствительно вязать руки покровителям беспорядка и управлять ими так, чтоб они того не примечали...» Ну, а что считать «беспорядком» или «порядком» - это, разумеется, Пьеру оттуда, «из-за бугра», вовремя подскажут, позаботятся. Как подсказали яковлевым, горбачёвым, ельциным...

Лев Николаевич отлично понимал всю опасность для России этого дьявольски гениального политического изобретения Запада, возможности масонов быть не просто «агентами влияния» у нас, но агентами прямого действия. В чём мы и убеждаемся сейчас, когда наша страна, правящий её слой и практически вся публичная либеральщина буквально наводнены масонскими ложами и структурами, их (по данным весьма информированного О. Платонова) уже свыше пятисот. Розенкрейцеры, иллюминаты, мартинисты, гностики, антропософы и теософы, окровенные сатанисты — «имя им легион». Фармазоны, как окрестил очень точно их русский народ, и мы ещё удивляемся намеренному абсурду, какой с западной подачи царит у нас в экономике, политике, культуре...

Можно привести ещё немало примеров толстовской «силы прозы», и в том числе «обратного действия», так это можно назвать. Возьмём хотя бы его отношение к Шекспиру: умом мы понимаем, что великий Толстой явно неправ, уничтожая и едва ли не уничтожая великого Шекспира.

Но таков энергетический напор его своеобразной и, на первый взгляд, весьма убедительной логики, таков эмоциональный накал его «страсти отрицания» шекспировского художественного мира, что ты невольно готов уже согласиться с каждым отдельным «пунктом обвинения» — но не со всеми вместе... И потому критический очерк «О Шекспире и о драме» вполне, на мой взгляд, можно счесть за художественное именно произведение, настолько он насыщен всеми оттенками иронии, желчи, насмешки, возмущения, несогласия, гнева — но именно оттенками, сами же эти чувства Л.Н. старается подавить, не выказывать их откровенно, сохраняя холодную объективность. И мы лишь чувствуем, как велик гнев Льва Николаевича, когда он внешне спокойно, сдержанно говорит о самом страшном, по его мнению, писательском преступлении: Шекспир, дескать, безнравственно «балуется словами», балуется самим Словом...

Несколько лет назад я уже говорил о своём неприятии повести «Хаджи Мурат», где неоправданно вознесён на некую, едва ль не нравственную высоту горец-герой и, грубо говоря, «опущены» русские персонажи и их царь. Поскольку фактов, подтверждающих это ложное «превосходство», не было и быть не могло в природе, в истории того противостояния, все писательские усилия, вся «сила прозы» Льва Николаевича были направлены именно на эмоциональные, художественные «доказательства» правоты Хаджи Мурата и, якобы, неправоты русского правительства и исполнителей его воли. Война, объявленная Л.Н.Т. злumu несовершенству мира в лице ближнего «козла отпущения», а именно российскому государству и Православной Церкви, была по сути вполне либеральной, поддержанной верхушкой той же либеральной интеллигенции, вспомним её позорное «пораженчество» в русско-японской...

Но историческая правда оказалась не на стороне Толстого, известная калужская судьба Шамиля и самого горского движения полностью, считай, опровергает все художественные и идеологические построения, всю ту страстную тенденциозность писателя. У горцев никто не собирался отнимать ни землю и имущество, ни свободу самоуправления, обычаев и вероисповедания — и какой тут мог быть «газават», какая «священная война» за веру?! Или за независимость — когда на них ни налогов не накладывали, ни воинскую или другую повинность. Что Шамиль и признал, в конце концов, искренне покаялся. Единственным требованием правительства было не разбойничать из засад на коммуникациях с христианскими Грузией и Арменией, не грабить жестоко и не убивать друг друга в межплеменной, межродовой розни, жить мирной жизнью и трудом, а не разбоем, и разве это было не в высших интересах самих горцев?..

«Сила прозы», как и всякая другая сила, может быть направлена, ориентирована на совершенно разные цели — такой вот совсем простой вывод приходится сделать даже на примере великой толстовской прозы. Различение добра и зла, художественная правда — вот что продолжает оставаться в основе и литературы, и всякого другого живого, подлинного искусства. В свете этого видишь, как патологически неразборчив порой в целях и средствах современный литературный постмодерн, всеядностью своей и крайней нравственной, мягко говоря, неряшливостью подобный свинье. Крыловской опять же свинье под дубом, жиреющей на цитатах-желудях и непременно подрывающей корни высокой традиции, паразитируя на ней. Там уже не приходится говорить о «силе прозы» — там, скорее, внутренне пустая, полая изощрённость перемешанности, цинизма и заёмных форм, иронизмы как заменители, эрзацы художественной мысли. Возражат: но и там своя энергетика есть, дескать, и оттуда что-то такое светит... Можно и согласиться: да, специфическая энергетика у него, похоже, от нынешнего политиканского постмодернистского фарса, который царит, творится — не творя ничего сущностного! — у нас на дворе; так ведь и болотные огни светятся — над гниющей трясинкой... И молодым собратьям пишущим сказать хочется, даже крикнуть: не бредите на них — там трясина!..